**Борис Андреевич Пильняк**

**Повесть о ключах и глине**

      "Здесь из-под земли выбивался студеный ключ".   
      Вс. Иванов   
  
      ...Это арабская песня:   
  
      Мастер, осторожней касайся глины,   
      когда ты лепишь из нее сосуд,--   
      быть может, эта глина есть прах возлюбленной,   
      любимой когда-то:   
      так осторожней касайся глины своими теперешними   
      руками.   
  
      В Палестине, в Сирии, на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги, и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожи на птиц. На корме каика, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер,-- но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу; каик громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; -- и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой {скамейкой}; другую ногу они сгибают в колене, шаровары раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла,-- той ногой, которая была в воздухе, они опираются о борт шаланды, отталкиваются ею и вновь взлетают на воздух, над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они -- нет, не поют, а всклекотывают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:   
  
      Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!   
      Боже мой, путь еще не кончен: -- путь еще далек --   
  
      это всклекотывают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, -- это всклекотывают они потому, что по истине "путь еще не кончен" -- потому -- что они же поют -- в пустыне, в ночи, под пальмами и звездами, отдыхая около своих белых мазанок, или около верблюда, или около оаза -- поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет -- -- 

**I**

      В порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза социалистических республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы идти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно,-- из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось,-- и, умытое, готово было блестеть, если бы было солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюм сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта.   
      Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отрепьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками,-- кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было пятьсот человек,-- это были евреи, едущие в Палестину, едущие на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шлюпками, около труб (пароход был двутрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей так, как валятся вещи, вытащенные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскладывались постели, и там сидели женщины и дети. Старики выискивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик,   
      взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, прочитать древними словами,-- и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древнееврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и пароходные трюмы: пароходные трюмы и гетто пахнут одинаково, быть может, потому, что гетто всегда были лишь перепутьем для этого идущего народа.   
      Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага,-- откровенная грязь ползла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерек несся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна -- не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках чуялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.   
      Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже отсвистел второй гудок. Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил кофе и отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены,-- что молодежь--сионисты из Тарбута собрались ва баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе,-- сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном.-- Пароход загудел черным страшным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем -- воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам острокадычных шей и голов. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился, посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал,-- и тогда в вое возник ритм песнопения; эта песнь была гортанна, однотонна, обречена, вся облитая кровью и горечью,-- это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:   
      -- Мооолчать, на баке! -- проревел капитан.-- Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! -- Мооолчать!!   
      На баке на несколько минут произошла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то выругал. И пошел гвалт.   
      -- Вы нахал, мерзавец, скотина!   
      -- Моол-чать! В канатный ящик!!   
      -- Гражданин капитан,-- меня ударили по шее!   
      Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:   
      -- Молчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.   
      -- Есть! -- ответил штурман, и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась.   
      -- Слушать команду! -- крикнул покойнее капитан.-- Сионисты! -- когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня... Мооолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!   
      Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило.   
      Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчисления,-- крестоносцами, в дни, когда Готфрид Бульонский врывался в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство,-- и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти человечества остался этот народ, всюду гонимый,-- остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником,-- и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Йорк прежде, чем стать Нью-Йорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться,-- точно так же, как в Йорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла есть еврейский пот и еврейская взятка -- опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями,-- и вся их история окрашена тем, что евреи -- еврейство -- не потеряли своего облика и через века пронесли свою мечту, свою тоску, извечную свою печаль -- печаль и тоску вечного народа,-- пусть гонимого, но все же сшивавшего и сшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смирнский еврей Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии, и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем -- умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа.   
      И вот теперь на пароходе под флагом Союза советских республик ехало пятьсот человек евреев к своему национальному очагу. Пароход уходил в синь Средиземных морей. -- --   
      Ветер дул уже холодом. Сзади горел, умирая и возрождаясь, маяк, и исчезали огни порта. На корме, над винтом, прислонившись к фальшборту, стоял старый еврей, в кафтане, в ермолке с клинообразной бородой по пояс -- старый еврей, который ехал к Стене Плача, чтобы выплакать там все свои слезы и чтобы без слез уже, счастливым, умереть на обетованной земле, в долине Иосафата. Он смотрел назад, на ту землю, где родился он, где родились его деды, прожившие здесь в гонении столетья,-- и он, старик, плакал, прощаясь. Он должен был это сделать -- и он проклял эту землю рассеяния: но не плакать -- возможности не было, слезами горя. Ту же землю, что лежит впереди за морями,-- он поцелует, он поцелует своими старческими губами, старою своею грудью припадет к земле, прижмется к пей,-- и эти старческие поцелуи будут самыми страстными -- самыми страстными поцелуями из всех, какими когда-либо он целовал,-- и ту землю он обольет слезами горя.   
      Маяк уже скрылся, умер во мраке. Черная стояла кругом ночь, обдувал ветер холодом. Старик по загруженным палубам пробрался к себе, к своим вещам. Здесь были растянуты тенты. Люди уже спали, уставшие от дня. Светила здесь несильная электрическая лампочка. На корзине лежала -- спала -- женщина, и ее голова повисла в воздухе. За ящиками на перине спало целое семейство. Капитан, старый уже, добрый в сущности и усталый человек, сошел в штурманскую рубку, склонился над картой и попросил принести стакан чаю. Все лишние огни на пароходе потухли.   
  
      ...Пароход шел от туманных берегов Скифии к солнцу Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, к сини моря, неба и гор,-- туда, где в Греческом архипелаге -- до сих пор еще возникают новые острова и дымят вулканы,-- туда, где возникали и гибли великие культуры, египетская, ассирийская, греческая, арабская,-- туда, где тысячи и тысячи прошло народов, нарождаясь, побеждая, умирая, в этой стране солнца, камня и моря, создавая религии, искусства, культуры, цивилизации -- и умирая там, где каждый камень -- памятник...   
      У электрической лампочки висела клетка с канарейкой, и канарейка не спала. На полу в проходе спал старик, подложив под голову рюкзак. На скамье спали обнявшись, чтобы не упасть, две девушки, под скамью поместился и покуривал перед сном юноша. Все остальное место было завалено вещами. Старик сел на свой матрац около жены и последнего своего ребенка, поехавшего с ними,-- раскрыл книгу и -- бесшумно, одними губами -- стал читать молитвы. Еще десяток таких же стариков сидели так же с такими же книгами. Старик увлекся чтением,-- где-то, на конце фразы, смысл которой был особенно удачен, где говорилось о строгости жестокого Иеговы, старик поднял горе голову и пропел   
      эту фразу. Сейчас же ему откликнулись другие старики. И вскоре на палубе возникло странное, чуждое русскому уху, молитвенное пение, напряженное, страстное, как страстна может быть черная кровь. -- --   
  
      ...А на баке около форштевня в этот час стоял юноша, в кожаной куртке, в галифе и новеньких галошах. Лицо у него было -- если бы осветить его в этот момент фонарем -- было торжественно, строго и решительно, но это же лицо указывало, что юноша был слаб здоровьем, быть может, страдал уже чахоткой. Глаза его были прикрыты пенсне, шнурок от пенсне лежал за ухом. Юноша стоял прямо, откинув голову назад, смотрел вперед, подставлял грудь под ветер. Уже качала волна, и за бортами сопело море, и бак медленно поднимался, чтобы опуститься с шумом в волны. Этот юноша, прощаясь с девушкой, оставшейся на берегу, крикнул ей: -- "в будущем году -- в Иерусалиме!" -- и он страстно пел свой сионистский гимн. Там впереди за морями была обетованная земля. Старики ехали к Стене Плача -- он ехал в Тэл-Авив, гехолуцец,-- он ехал мостить дороги, садить сады, растить виноград и рициновое дерево, копать колодцы, сушить Тивериадское озеро и его лихорадки. Он, демократ, сионист, социалист, ехал строить свое государство, потому что не хотел быть непрошеным гостем в странах рассеяния, хотел себя освободить от чужих народов и их -- этих чужих -- оставить свободными от себя. Он руками, грудью, плечами -- киркой и лопатой -- должен был построить свой дом, свой мир,-- он, сын народа, всегда гонимого и никогда не теряющегося, великого народа. В ночи и ветре,-- через ночь и ветер,-- перед глазами его вставали подступы к Сиону, в пыли и зное дули аравийские ветры, и там вдали в красных песках стоял город с высокими, зубчатыми стенами, разбросанный нa каменистом плоскогорье. В этот город идут караваны верблюдов,-- но это он, это его братья пророют там дороги вплоть до Индии и всю каменистую пустыню, где сейчас изредка торчат пальмы да джигитуют бедуины, превратят в апельсиновый сад. Там, Палестине, после двух тысяч лет вновь возник древний язык,-- и кто знает, быть может, среди камней, около рва, обсаженного кактусами, там, где потечет вода, возрождающая пустыню, он скажет далекой девушке, как говорил уже однажды у себя в местечке в Витебской губернии,-- скажет девушке о прекрасной любви... Их, из этого местечка, сейчас ехало семеро, четверо юношей и три девушки, все они были и гехолуццы, и из Тарбута. Это они протащили через таможню и полит-контроль сионистский флаг и пели свой гимн перед уходом в море. Когда кричал капитан, они совещались,-- петь или не петь дальше? -- и это он отговаривал петь, полагая, что пение мешает капитану командовать судном,-- утешая тем, что, когда они выйдут в море, то попоют.  
      И юноша, как старик, пошел спать. Все семеро они устроились вместе, под вельботом. Товарищи его уже спали, свалившись кучей на мешки. Он снял сапоги вместе с галошами, подсунул их поглубже под вельбот, всунул в сапоги чулки,-- и втиснулся в товарищей, скромно поправив сбившиеся на девушке юбки. Эта девушка не проснулась, но проснулись -- другая девушка и юноша. Тот, что разбудил их, тихо сказал, с трудом, на древнем языке: -- "В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами -- --"   
  
      Ночь была глубока. Все спали на пароходе. Пароход затих, и слышно было, как шумят волны и ветер. Капитан с вечера заснул в штурманской рубке, -- проснулся в этот глухой час, слушал, как отбили склянку, вышел на мостик. Небо очистилось, светили звезды. Шли на траверзе Дуная. Капитан справился о курсе, покурил. У компаса стоял человек в плаще, разговаривал со штурманом.  
      -- Не спите? -- спросил капитан.   
      -- Да, не спится. Хожу, смотрю.   
      -- Вы, извините, по делу едете? -- спросил капитан.   
      -- Нет, еду посмотреть. Вернусь вместе с вами обратно. Ведь мы будем проходить -- поистине по человеческой истории. Интересно посмотреть, что осталось от человеческой колыбели.   
      Капитан сделал презрительнейшее лицо, поджал губы, словно съел кислое, и сказал:   
      -- Ничего не осталось от всего этого, самое безобразие. Я ходил в Америку и на Дальний Восток. Хуже Ближнего Востока ничего нет, одно надувательство и безобразие, извините,-- что турки, что греки, что левантийцы, что арабы. Турки с арабами еще ничего,-- одни честные, а другие работать могут. Капитан помолчал, спросил:   
      -- Извините, я имя ваше позабыл.   
      -- Александр Александрович Александров.   
      -- Извините, Александр Александрович, а я думал, что вы еврей,-- сказал капитан.   
      -- Да я и есть еврей.   
      -- Вы -- партийный?   
      -- Да, я коммунист, только я еду под чужой фамилией и с чужим пассом.   
      -- Я тоже партийный,-- ответил капитан.-- Не хотите ли стакан пуншу? Идемте в рубку.   
      Ночь была черна, все огни потухли на пароходе. В рубке капитан, стоя, локтями облокотился на карты и, с карандашом в руках, говорил о Константинополе, о Смирне, об Афинах, о Бейруте, о Яффе... Против капитана сидел немолодой человек, тщательно одетый в прекрасно сшитый серый костюм, тщательно выбритый, сухолицый, со ртом, полным золота. Этот человек давно уже потерял всяческие национальные черты, его как следует выгладила Европа. Лицо его было немолодо, но такое, по которому трудно определить возраст, оно было энергично и утомлено,-- и было таким лицом, которые надолго хранятся в памяти. У него была привычка подбирать нижнюю губу, покусывая ее, а глаза его смотрели упорно, верно сказывая, что этот человек может думать быстро, точно, разумно. Этот человек держал в руках стакан пунша, но не пил его,-- машинально, должно быть (хотя этот человек был того склада людей, которые очень внимательны), он перебирал в пальцах стакан и заглядывал на его дно.   
      Потом было утро.   
      Тогда к капитану подошел тот юноша, который простоял ночь у форштевня, в галифе, но без сапог, в одних галошах на красных домашнего вязания чулках. Юноша спросил капитана:   
      -- Гражданин капитан! Вы вчера сказали нам, что когда мы выйдем в море, мы можем петь от девяти до двенадцати дня и от пяти до девяти вечера. Скажите, пожалуйста, мы уже вышли в море?   
      Судно шло морем уже около полусуток,-- на лице капитана изобразились посменно страдание, недоумение, опять страшное страдание, обида. Капитан вынул руки из брюк, уперся ими в бока, потом стал разводить руками, все дальше и дальше назад, выставляя вперед живот. Потом рука капитана подперла его щеку, лицо изобразило плач,-- и по палубам полетел бас капитана:   
      -- Да это же черт знает что такое! Да это же вы издеваетесь над капитаном! Да это же, да это ж!..-- и уже свирепо, двойным басом:-- Молодой человек, не сметь издевательских глупостей спрашивать у капитана! -- --   
  
      Через несколько минут, все же, капитан мирно ел маслины и мирно беседовал с Александром Александровичем. Юноша же энергично ходил по палубе с девушкой, пусть жарко, но под руку: он был в галифе н в шляпе, в руках у него была тросточка; девушка была в нитяных туфлях, чушки были надшиты, черные и серые. Она была очень некрасива, кривонога, широкобедра. Он смотрел сосредоточенно; они ходили очень быстро; он говорил, должно быть, о чем-то очень значительном, и тем не менее под руку; и надо было заключить о том, что, пусть они оба некрасивы,-- всегда прекрасна молодость! 

**I I**

      Судно -- синью морей -- шло в Палестину.   
      Через день моря был Босфор, Кавак. Там турки возили палубных пассажиров в баню. Глаз пригляделся к пассажирам. Было известно, что под лестницей на спардэке поселилась семья бухарских евреев; в их костюмах и, должно быть, в их быту отразилась та тысяча лет, что прожили они среди узбеков: мать, в узбекском халате, лежала на пестрой перине, прикрывшись широчайшим шелковым одеялом, подобрав под себя детей,-- как легла на перину, так и не вставала с нее, должно быть, решив не вставать до Яффы; отец же от времени до времени вылезал из-под перины, тоже в халате, и бегал на другой конец парохода, тоже к бухарскому еврею, поиграть в кости; мать резала арбузы и давала огромные ломти детям,-- около их логовища лежала гора арбузных корок и тут же стоял ночной горшок для детишек.   
      Горские евреи, выходцы с Кавказа, на подбор красивый народ, держались вместе, табунком мужчины, табунком женщины,-- они везли с собой кусочек кавказских вершин и ущелий,-- гибкостанные, высокие, медлительно-ловкие, потомки хазар. Если присмотреться внимательнее, украинские евреи -- рослее, здоровее польских и литовских; это от того, должно быть, что, когда громили гайдамаки евреев, они вырезывали всех мужчин и насиловали всех женщин, от девочек до старух, вливая в еврейскую кровь гайдамацкую. Почти все литовские евреи, ремесленники, были хилы. На спардэке у трубы устроилась семья субботников, украинцев, принявших еврейство; он, муж, кроме украинского языка, знал еще древний еврейский,-- она же, жена, умела говорить только по-украински; все дни она сидела так, как сидят, отдыхая, русские бабы, на полу, широко расставив ноги; голова мужа лежала у нее на коленях, и она искала у него в голове вшей,-- впрочем, это в то время, когда они не молились.   
      Старики-евреи попросили у капитана место для молений; капитан отвел им пустое трюмное помещение. Там в этом пустом трюме света не полагалось. Там была сделана моленная. Там горел десяток свечей, и все же был мрак. Пахло так, как всегда пахнет в трюмах -- и как пахнет в гетто. На полу, кто на чем примостился, сидели старики в талэсах, в ермолках, с коробочками тфилнов на головах с кожанопереплетенными книгами. Из трюма по жилым палубам неслись песнопения. Там, в трюме, нечем было дышать, глаза резало удушье свечей, было очень жарко, -- и круглые сутки там молились люди неведомому, страшному Адонаи неистово, страстно, обреченно. Субботник-украинец молился здесь со всеми остальными, так же, как остальные, закидывая высоко горе голову. Молодежь все время митинговала на баке.   
      Классных пассажиров было немного, это были зубные врачи, несколько актеров, один из этих артистов приходил к капитану со следующими словами: "Простите, гражданин капитан. Я артист московских больших и малых театров, оперный артист. У меня билет до Яффы третьего класса. Нельзя ли мне устроиться во втором, там есть свободные каюты". Зубные врачи, актеры, маклер все время были на спардэке, пили чай и ели из кулечков запасенное с земли; их жены наподбор были толсты, откормлены; они нежились на шезлонгах и около них болтались молодые штурмана и практиканты; мужья несколько раз принимались за преферанс.   
      В первый вечер моря необыкновенно умирало солнце. Торжественная проходила тишина,-- и тогда море и мир, все проваливалось во мрак, а звезды стали такие, что, что -- нельзя было подобрать к ним сравнения. В этот час никого не было на спардэке, кроме Александрова, -- евреи от торжества сошествия ночи ушли к своим койкам. Над водой стал месяц и быстро пошел в небеса, рядом с яркой звездой; по морю, в синем мраке, легла от месяца дорога -- и Александрову стало ясно, что, если у турок всегда такой полумесяц, как этой ночью, византийской вязи, то понятно, почему у турок, у ассиров, у мидян, у египтян были ночные, лунные цивилизации. Около месяца, застежкою, горела яркая звезда.   
      Утром судно пришло к Босфору, к Геллеспонту, к этому красивейшему, величественнейшему в мире земному месту, где склонились друг к другу горами Европа и Азия. Вода и небо были ослепительно сини. Солнце грело жарко. С земли дул ветер, гудел в вантах,-- и от этого ветра еще лучше было солнце: такой ветер должен все раздувать, оставляя свою синь и солнце... Впрочем, вода была синей только в проливе, под бортом парохода и у берегов она была зелена, как яхонт. Направо на европейском берегу и налево -- на анатолийском, росли фиговые леса. На вершине горы главенствовали над проливом развалины сердцеподобной генуэзской крепости. На взморье было до десятка пароходов, их гуды отдавались многими эхами. Справа и слева с моря шли фелюги под косыми своими парусами, пестрораскрашенные. Судно прошло в Кавак, в контроль.   
      В бинокль на берегу были видны очень маленькие и пестрые восточной архитектуры трехэтажные домики, стоящие прямо на воде так, что под домами были устроены для каиков гаваньки. Над одной из гаванек была кофейня, нa терраске над водой сидели люди за кальянами.   
      Судно приняло полицию, врача и пошло на карантинный пункт, в баню. Опять за бортом зашелестела яхонтовая вода, опять задул ветер; тот, который необходим солнцу. Впрочем, солнце, небо и землю наблюдал только один Александров, потому что остальные пассажиры были настроены так же, как, должно быть, перед погромами. Никогда не плохо человеку помыться в бане,-- но то, как делали это турки, когда они категорически гнали мыться в баню пятьсот взрослых человек, причем никто из этих людей в дальнейшем своем пути не имел права выходить на берег в Турции,-- это было похоже на издевательство. К бане готовились еще с вечера, шептались, спорили,-- старухи ходили к капитану, объясняли про свои болезни и просили заступничества капитана, не веря ему, что он бессилен оградить от мытья. Капитан сначала сердился, потом развеселел и рассказывал женской делегации о том, что в турецких банях моют евнухи, что в турецких банях есть такая специальная персидская грязь, от которой слезают волосы и которой турки моются, ибо магометанский закон не допускает волос на теле, и что этой грязью будут мыть женщин. Одна старуха, вполне серьезно, чтобы не ходить на мойку, скоропостижно забеременела, но ее же соседки подняли ее на смех и вытащили у нее из-под юбки подушку.   
      Судно отдало якорь около бани. С судна были спущены на воду три вельбота. Опустили два трапа. На палубы набрались добродушные турки, -- полиция и санитары. Карантинный флаг был снят. Домики на берегу под платанами мирно дымили, дымок уходил в горы,-- в анатолийские просторы и синь. Все было очень пустынно. И такой был синий под солнцем ветер. Доктор по списку стал выкликать -- Розенфельд, Геликман, Френкель, Кац, Карп! -- и по трапам на вельботы поползли с узелочками люди, к бирюзе воды.   
      -- Ямайкер! -- вызвал доктор. Никто не откликнулся.   
      -- Ямайкер! -- повторил врач.   
      Ямайкера пошли искать по палубам. Погрузка остановилась. Ямайкера нашли не скоро, он спрятался где-то в машинном под валами. Два турецких   
      полицейских привели на палубу старого, очень худого человека, клинобородого. Лицо его было испуганно, борода дрожала. Он говорил о том, что жена и ребенок записаны в другом списке, и он хочет ехать вместе со своей женой. Вельбот покачивался внизу на волнах, набитый людьми. Человек с кошелкой для белья, в пенсне, крикнул оттуда сердито:   
      -- Товарищи, что за шуткэ! Прошу относиться к делу серьезно, и не понимаю из-за чего и почему шум -- --   
  
      ...Поистине, пароход шел по векам. Босфор, Золотые Ворота, Геллеспонт -- здесь прошли все народы мира. Каждый камень, каждая развалина есть здесь память веков, от дней доисторических до норманнов, до памятника Олегу в том месте, где он поставил свои струги на колеса. Судно заходило во многие порты, но эмигранты не выходили на землю. Судно шло солнцем, морем, простором, Эгейей, там, где совершенно понятно, почему греки создали такую прекрасную мифологию, ибо Паросы, Андросы, Лесбосы, Скарпанто, Скапилосы сами по себе фантастичны, как греческий эпос,-- судно шло невероятной синью моря, неба, гор, луны, восходов, закатов, дней.   
      Переселенцы не видели этого, не хотели или не умели видеть,-- это проходило мимо них так же, как прошли те века, когда они не были на родине. Они не заметили, как увидел Александр Александрович Александров, что афинский Акрополь есть ключ ко всей европейской дневной цивилизации, этот белый, выжженный белым солнцем, единственнейший комок мрамора, ключ к истории тысячелетий, где ныне сторожиха сушит после стирки красные панталоны. Александр Александрович Александров балдел, сходил с ума, у него набок съезжал галстух; на автомобиле он мчал в Айю-Софию, поминал, что в этой церкви янычары в один день зарезали сорок тысяч греков (точно так же, в скобках, как в шестнадцатом году двадцатого века неподалеку -- в Дарданеллах были убиты и зарезаны те же тысячи людей, англичан, французов и турок, о чем памятью остались выскочившие на берег английские дредноуты,-- точно так же, как в тысяча девятьсот двадцать первом году Мустафа Кемаль-паша, обложив тяжелой артиллерией Смирну, предложил грекам в двадцать четыре часа уйти из Смирны, всем до одного, от солдата до новорожденного,-- и, когда греки не успели уйти,-- сначала -- тяжелой артиллерией -- расколотил суда на рейде, а потом разбил, разгромил, сжег город, скинув в море до двухсот тысяч греков, солдат, женщин, стариков, детей,-- оставив на обгоревших улицах, в мраморе, покой для сов, поселившихся там).   
      Александров понуро смотрел на те несметные кладбища, города смерти, что на десятки верст могильных камней полегли вокруг развалин Стены Константина в Византии,-- и весело поглядывал на могилы сорока султанских жен, зарезанных султаном потому, что не знал, которая из них -- одна -- изменила ему... В Эдикюлэ показывали колодезь крови, где турки рубили головы всем, начиная с султана. -- --   
      По землям Анатолии прошли все народы. В пыли лежат развалины Сард, Эфеса, Пергамы, Магнезии, Милета, Галикарнаса. Смирнская провинция памятует трехтысячелетье, легшее на нее пылью. Магнезия, куда мчал на скверном автомобиле по скверному шоссе Александров, столица лидийских царей, переименована в Магнезию из Танталиды, основанной Танталом,-- тем самым, который, украв нектар, едово олимпийских богов, угощал им своих танталидских гостей. И на Сипилском хребте, видном из Магнезии, видна женщиноподобная скала Ниобеи, о которой сообщено Геродотом и воспето Овидием -- то обстоятельство, что скала эта возникла из окаменевшей от горя Ниобеи. В Галикарнасе родился Геродот,-- ныне там пыль и запустение, и несколько турецких лачуг. В Эфесе, в ночь рождения Александра Македонского, Герострат сжег храм Дианы-Артемиды,-- чтобы прославиться: и Александров задирал вверх голову, чтобы посмотреть развалины храма. В самой же Смирне, в теперешних ее развалинах, ютятся совы, но здесь, по преданию, родился и писал Гомер,-- и здесь же до сих пор,-- ныне в развалинах, на мостовых, построенных римлянами, по которым шли римские когорты,-- пляшут под арфы левантийские танцовщицы, пляшут танец живота, застрявший из веков, и мажут себя перед танцем из веков же застрявшей амброй. В Эгейском море, в Греческом архипелаге каждый день из сини благословением выходило солнце и благословением закатывалось, чтобы народить необыкновенную луну. Море -- синевой -- проносило судно мимо островов, где каждый остров -- история и легенда. Ночами светила луна, и ночами на небо поднимались звезды, такие, которых никогда не видно из Лондона, Берлина, Москвы,-- в полночь на несколько минут на кварту из-за горизонта выходило таинственное созвездие и сейчас же скрывалось за горизонтом. Ночью же судно прошло мимо Сенторинского вулкана, мимо этой стихии земных недр, вулканом выбрасываемых в небо. Луна меркла от вулканного красного света, было слышно, как дышит вулкан. Лицо капитана, около которого стоял Александров, было зловеще в этом красном мраке. Было очень величественно. Но на судне никто не видал этого. Александров неистовствовал от земель, городов, солнца и луны.   
      На судне почти не было событий. Каждое утро боцман мыл палубы, и тогда роптали палубные пассажиры, ибо приходилось перетаскивать с места на место вещи,-- но шланга боцмана смывала за борт очень много грязи и объедков. В портах к пароходу подъезжали каики, и с помощью веревок велась торговля инжиром, финиками, маслом, табаком, хлебом,-- и тогда борт парохода походил на местечковую ярмарку, мелочную и очень шумную. Среди классных пассажиров было известно, что такая-то жена зубного врача забегает грешить в каюту радиста, и об этом знали все, кроме мужа. Поговаривали, что матросы понабрали себе жен на рейс с нижней палубы, но это делалось незаметно. Раза два были ссоры, в которые вмешивался капитан, чтобы примирить, когда возникали два ссорящихся коллектива. Однажды, уже в Средиземном море, на юте был большой шум: старик-отец ночью, проходя из моленной, увидел, что дочери его нет на месте; он пошел ее искать и нашел лежащей с юношей за якорями. Отец ее проклял. И утром толпа стариков, вместе с отцом, громко проклинала ее, на древнем языке. Она стояла у решетки фальшборта, над ней повисали проклинающие руки, вокруг нее тряслись седые бороды, и было непонятно, почему она не бросается за борт от безобразия и -- почему это старики только орут, но не избивают ее камнями. Девушка же была покойна и, когда зацеплялась за кого-нибудь взглядом, покойно говорила, одно и то же:   
      -- Ну, и что? -- Я еду из Тарбута, и мой жених из Тарбута, а он -- мелкий торговец, мой отец-- --   
  
      Судно протекало мимо Византии, Смирны, Пирея, Салоник,-- судно шло синью Босфора, Дарданелл, Эгейи, Средиземья. Все это протекало мимо. Чем дальше шло судно, тем страстнее неслись молитвы из трюма, из моленной, тем жестче сжимались руки и глотки в молитве. Уже за недалекими синями -- обетованная земля; изгнание -- окончено. Каждый, кто ступит на землю отцов, поцелует эту землю, священнейшую, родину.   
      В Салониках,-- городе, разбитом и разграбленном так же, как Смирна, где целые кварталы лежат в развалинах,--на пароход села семья греческих евреев, сефардим. Их было семеро: старуха-мать -- бабушка, сын-отец, жена и дети. Это были евреи второго -- испанского -- пути рассеяния. Их предки расстались с предками едущих на пароходе, полторы тысячи лет назад. В Салониках неимоверно жарило солнце, день был золот и синь. Эти евреи, конечно, ни слова   
      не знали по-русски. Они поспешно взбирались по трапу. И на палубе вся семья -- от старухи, которая шла впереди, до четырехлетнего ребенка,-- все заплакали, все протягивали руки и, восклицая на древнем языке, все -- они страстно, почти истерически, как братья, которые не виделись десятки лет -- попадали в объятья, страстно целовали всех евреев, что были на палубе. И те, что были на палубе, поистине, вставали в очереди, как в Москве в 1919 году за хлебом, чтобы поцеловаться,-- пусть у некоторых это было формальностью. В моленной, в трюме -- на железе палубы, на канатах, на подостланных матрацах -- сидели люди в телесах и тфилнах, молились Адонаи; там чадно горели свечи и нечем было дышать -- --   
  
      Однажды море развело волну, это было уже в Средиземьи. И море и небо посвинцевели, загудел в стройках на пароходе маистра, зеленая муть волн   
      полезла на палубы. Люди тогда хворали морской болезнью. Человеческие тела завалили все палубы. Первыми затошнились женщины, потеряли в болезни стыд. Стонали, причитали, валялись, не следя за платьями, их рвало тут же на палубы, около подушек и голов. Иные висели над бортами, и ветер метал их волосы. За бортом величествовали стихии. На борту страдали люди. Меж тел ходила команда, иных тащила к борту, иным притаскивала воды, иных водила по сортирам. Ходил по палубам молчаливый доктор, больные просили у него спасения,-- доктор отмалчивался, лишь изредка, неизвестно почему, спрашивал у женщин таинственным голосом,-- "а что, понос имеется?" -- женщины поспешно рассказывали обо всем том, как варит их желудок,-- и доктор проходил мимо. Когда доктор видел уж очень побледневшие лица, уж очень запекшиеся губы, то говорил санитарам, чтобы облили холодной водой и относили на спардэк, к трубам, на ветер и туда, где меньше качало. По палубам со шваброй ходил боцман, покойный человек; он подходил к тем, кто томился, и спрашивал:-- "что, мутит?" -- и производил тот звук, который не передать литерами, который производится во время рвоты, "ы-ык",-- и человека сейчас же судорожно тошнило от этого звука; боцман шваброй растирал по палубам рвоту и говорил: -- "Самое верное дело поблевать, сразу легче. Опять же я подмыл!" -- За бортом стихийствовало море. В эти часы особенно много было людей в моленной. Во мраке там нечем было дышать от запаха рвоты. Огни свечей метались от качки. Там исступленно молились люди, страдающие качкой, горе поднимая запекшиеся бороды.   
      А в ночь перед Палестиной море гремело грозой. Во мраке исчезли небо и вода. Только молнии кололи и рвали небо и воду, и выл ветер, и гремел гром. Было очень странно смотреть, как, когда померкнет молния, светится еще -- фосфорически -- вода; -- и тогда казалось, что грохочет громом не небо, а вода, вот та, что лезет на палубы, вот та, в которую зарывается нос судна. Всегда величественны и грозны грозы. На судне никто не спал, но все люди, табунами, забились по щелям, дальше от грозы, в страхе, в молитвах. 

**I I I**

      ...Впереди была Палестина-- --   
  
      На Урале в России, где-нибудь около Говорливого или Полюдова камня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить,-- и не выпил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить,-- и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ -- --   
  
      За грозами революций и войн, за делами, разбоем и буднями новых народов, правящих миром -- республиканцев СССР, англичан, французов, немцев, китайцев, республиканцев Северо-американских соединенных штатов,-- за заводами Ланкашира, Рура, Токио, Чикаго,-- за дипломатией Кремля, Вестминстера, Версаля, Потсдама: -- как помянуть о том человеческом ручье, который протек на судне Торгового флота СССР из порт-Одессы до порт-Яффы? -- и какой это ключ -- студеный, горький ли солью, кипящий ли? -- и к чему этот ключ,-- что можно им отомкнуть, отпереть? -- --   
  
      ...Там, за синей мглой моря, была Палестина, эта страна выгоревшего камня, страна песков и зноя,-- эта страна, где больше, чем где-либо, прошло великое разрушение древних цивилизаций, безводная страна, где только у оазов растут пальмы,-- брошенная страна, ибо никто не вправе сказать, что это -- его страна. В Палестине девять месяцев в году нет дождя, и тогда над землей стоят столбы красной пыли, и тогда такой жар над землей, жар пустыни, что нужны усилия фантазии, чтобы не спутать Палестину со сплошною печью. Потом три месяца подряд льют ливни, и люди тогда хворают папатаджей, страшной болезнью, окончательно изнуряющей (впрочем, так же, как в жары непривыкший человек погибает от болезни харара, изъедаемый москитами). В ливни Палестина превращается в болота. В ливни Иордан, обыкновенно шириной в уличную лужу, разливается до четверти ширины русской Москвы-реки. В ливни, в болестях папатаджи, люди заботятся о воде, в этой безводной стране, собирают ее в подземные цистерны, чтобы потом в девять месяцев бездождья пить эту дождевую муть, ибо другой воды нет в этой стране, кроме морской, которую опресняют по побережью морскими опреснителями. В этой стране естественно растут только кактусы, пища арабов, да у оазов пальмы. Здесь на камнях, с страшным трудом, арабы взращивают апельсины и касторовое дерево. В этой пустыне живут арабы и сафары, местные евреи. Их быт -- быт пустыни, Корана и Библии: быт колокольцев на шеях верблюдов, этих тоскливых колокольцев в пустыне, быт осла, быт деревни за кактусами и за пальмами, где ручными мельницами женщины мелют зерна, женщины в чадрах, и куда не заходят европейцы в боязни быть убитыми,-- быт пыльных городков с зловоннейшими улицами, где не разойдутся два верблюда и где обязательно запутается европеец,-- с мечетями, где дворы мечетей превращены в постоялые дворы для ослов,-- с кофейнями, где левантийки и феллашки пляшут танец живота,-- быт кальяна, мечети, синагоги, Корана, Библии,-- беспаспортный быт, ибо даже англичане не в силах навязать арабам паспорта,-- быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в пустыне шакалы,-- быт песков, которые ползут на Палестину из Аравии,-- многовековый, старый, нищенский, тесный упорный быт. В Иерусалиме столкнулись святилища трех великих религий; мечеть Омара, где Магомет ушел с земли к Аллаху,-- гроб Иисуса Христа в темном подземелии -- и развалины Иерусалимской стены, стена еврейского плача; каждая из этих религий, пока она не умерла, не отдаст своих святилищ. Англичане пришли в Палестину "по мандату", в эту "мандатную" страну, с тем, чтобы создать Великое Арабское Государство, никому не нужное, кроме англичан,-- и нужное англичанам к тому, чтобы проложить сухопутную дорогу в Индию. И англичане сделали из Палестины "национальный еврейский очаг", с тем, чтобы еврейским мясом колонизовать арабов -- с тем, чтобы датъ повод к горестной еврейской остроте (ибо еврейский народ всегда сам про себя выдумывает анекдоты), остроте о том, что в Палестине -- власть английская,   
      земля арабская, а страна -- еврейская! Англичане жили в лагерях в Палестине, за пулеметами и солдатами, и в тот час, когда на окраинах под луной начинали выть шакалы, англичане скрывались в своих лагерях, за пулеметы. Евреи приезжали в Палестину -- работать, хлебопашествовать. Первым делом -- по сравнению с арабами и сафарами -- они оказывались европейцами, по костюму, по манере жить, по понятиям, в своем неумении пить протухлую воду, в страданиях от жары, папатаджи и харары. Те евреи, которые приезжали с деньгами, ехали в Тэл-Авив, в городишко около Яффы, куда запрещен доступ арабам и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто восьмидесяти зубов, по десяти ног и если бы человек носил бы сразу по полудюжине карманных часов, ибо тогда хватало бы работы на всех дантистов, портных и ювелиров, съехавшихся в Тэл-Авиве; но у человека гораздо меньше зубов,-- и те евреи, что приезжали с деньгами, попросту скоро становились нищими. Те евреи, которые приезжали через Тарбут и Гехолуц, шли в английские казармы; сюда брались люди только до сорока лет,-- там им давались одежа, обужа, пища и несколько пиастров,-- и они мостили для англичан дороги, рыли канавы, высверливали воду, окапывались от ползущих песков, причем мужья жили в одних бараках, а жены в других,-- их кормили англичане за длинными казарменными столами, и вечером казармы запирались. Третья волна евреев шла на землю, та, которой посчастливилось получить денег от барона Ротшильда или с американских подписных листов,-- тогда они копали камень, рыли гряды, ссаживали в неуменьи руки, изнывали от жары, наспех читали брошюры по сионизму, жили в палатках,-- а ночью, когда поднималась луна и выли гиены, брали винтовки и караулили поля, ибо арабы не утеряли еще память о филистимлянах, восстанавливали филистимские времена и нападали ночами на евреев. Англичане не смешивались с евреями и арабами. Евреи не заходили в арабские деревни. Арабы не пускались в еврейские поселки. В пустыне глухо позванивали бубенцы верблюжьих караванов. На Иудейскую долину наползают пески пустыни. В Хайфе надо часами путаться в арабских закоулках, в зловонии,-- можно часами любоваться -- европейцу -- ослиным постоялым двором под мечетью и базаром, тут же около мечети. Главная улица Тэл-Авива нищенствее, но похожа на Уайт-Чапль-стрит в Лондоне и на одесскую Дерибасовскую. В Яффе -- на глаз европейца -- такая теснота в переулках, такая красота, такая экзотика,-- так необыкновенны эти широчайшие белые штаны арабов, пестрота народов, красок, лиц, звуков,-- под этим воспаленным солнцем,-- так прекрасны, так красивы сафары и сафарки, библейские евреи, мужчины на осликах, в белых хитонах, с пейсами до плечей, с лицами, похоронившими в себе тысячелетье,-- женщины, единственные здесь, кроме европеек, с непокрытыми лицами,-- с лицами, скопившими в себе тысячелетия красоты Сиона -- --   
  
      ...Ночь перед Палестиной в море неистовствовала грозой. И всю ночь перед Палестиной страстно молились евреи,-- перед той прекрасной, обетованной землей, их родиной, где не были они два тысячелетия,-- молились в страхе, в стихиях, в громах, посланных им Адонаи,-- молились, должно быть, так же страстно, как молились в этом море многажды, несколько тысяч лет назад, в золотой век Ассирии, Лидии, Египта, Греции, когда здесь, в бурях и грозах, гибли галеры и на галерах молились люди,-- молились так, как молятся перед гибелью.   
      Тогда к рассвету стихла гроза, и на рассвете в синей мгле возникла желтая земля пустыни, пески, камень,-- только очень далеко вдали, за песками были видны синие горы. Люди вышли на палубу. Люди принарядились, чтобы крепче подчеркнуть свою нищету-- нищету смокинга в утренний час. Капитан сверкал кителем. Александров вышел на палубу в огуречном шлеме, нарядный, свежевыбритый, в белом костюме. Вода была зелена. Небо синело так, что об него можно было вымазаться. Судно блестело чистотой. Краски и солнца, и воды, и неба, и судна были совершенно первородны, голы, без полутеней, точно их вырезали ножницами. Берег стал ближе, видны стали пальмы на берегу, белые груды домов, мечеть, два парохода на рейде, фелюги, каики. И моторная лодка пошла к пароходу. Люди на палубах были в священной строгости, торжественны. Гехолуццы столпились на спардэке, рядами, готовые запеть свой гимн, в задних рядах был приготовлен сионистский флаг. Старики и женщины были готовы упасть на священную землю, чтобы поцеловать ее, и готовы были целовать тех, кто сейчас придет за ними.   
      Судно пришло в Палестину 1 ноября: несколько лет тому назад 2 ноября министр сэр Бальфур написал лорду Ротшильду о национальном еврейском очаге в Палестине. Моторная лодка пристала к шторм-трапу. Трое -- три англичанина в военной форме, офицер и два сержанта -- вошли на борт. Гехолуццы на спардэке закричали ура, запели гимн, заприветствовали,-- старики бросились вперед с простертыми руками, спросить и узнать: -- ни один мускул не дрогнул на сухих, вывяленных лицах англичан, они прошли мимо толпы, точно толпа была пуста. Англичане прошли на мостик к капитану, улыбнулись, поздоровались, спросили о море и о погоде, сострили. Капитан широкоруко "вэри-матчил" и "иэзил", разводил руками, хохотал, предложил русской водки и икришки. Англичане не отказались, белоснежный лакей за тентом на спардэке заблестел кофейником, салфетками, тарелками, кеглей летая мимо толпы. Англичане были озабочены и за водкой обсуждали совместно с капитаном -- нижеследующее: назавтра, 2 ноября, в день декларации Бальфура, ожидалось антиеврейское выступление арабов, англичане не имели права сразу выпустить евреев на землю, без карантина и бани, баня же могла пропустить только триста человек,-- а карантин стратегически так был расположен, что можно было ожидать нападения на него арабов; англичане предлагали судну уйти на эти дни в море; капитан широкоруко хохотал, пил водку и доказывал, что каждый день простоя стоит ему двести фунтов,-- тем паче, что пассажиров надо кормить; тогда стали торговаться о цене. Англичане пили водку не хуже капитана. Капитан и англичане за водкой хитрили больше часа. Тогда англичанин - офицер, вышел к толпе и сказал о том, что они, англичане, триста пассажиров примут здесь в Яффе, по алфавиту, кроме первого и второго классов, которые могут сойти с парохода без карантина, триста человек,-- остальные же будут отвезены пароходом в порт-Хайфу, в хайфский карантин. Говорил англичанин по-русски. Англичанин сказал евреям, что они должны быть осторожны, запретил петь гимн, чтобы оправдать гостеприимство арабов. Англичанин сказал, что он, подплывая на катере, видел сионистский флаг,-- и англичанин предложил флаг сдать ему, англичанину. Толпа гехолуццев окаменела. Англичанин твердо попросил его не задерживать,-- но сам не тронул флага, глазом указав сержанту принять его и убрать. Тогда англичане ушли на катер, ни мускулом не простившись с толпою, и с парохода видели, как в зеленой воде поплыли синие лоскутья знамени. Тогда не стоило уже говорить об огне глаз приехавших в обетованную землю, ибо на борту стояла растерянная толпа, избитая так же, как избивали в древности камнями,-- такая толпа, какою она была многажды, в дни еврейских погромов,-- такою, когда еврею всячески хочется доказать, что он не еврей. И тогда на место англичан приехала на каике делегация местных евреев, представители разных организаций,-- чтобы начать приемку приехавших; среди них были и женщины, и у всех у них почему-то были очень пыльны ноги; точно они прошли огромные десятки верст; никаких приветствий не было; делегация села за столик и стала выкликать -- Авербах, Альтшуллер, Аронсон. Первым сошел с парохода Александров, потому что у него была виза корреспондента и туриста,-- а с десятым пассажиром, с женщиной -- --   
      -- -- ей было сорок два года, она приехала через Тербут, гехолуццка,-- и ее не выпустили на берег, она должна была плыть обратно, потому что англичане пускали в Палестину гехолуццев только до сорока лет, так как, должно быть, люди после сорока лет уже не годились для палестинского режима, женщина плакала и говорила, неизвестно, к чему, что она девственница,-- она действительно, должно быть, была девственницей, и у нее никого не осталось в России,-- брат ее был в Палестине. Ее оставили на борту, не пустили на берег, и брат махал ей -- растерянно -- кепкой с лодки -- --   
  
      Порт-Яффа -- в сущности -- никакой порт, ибо он с трех сторон открыт ветрам, а каменные рифы у берега только увеличивают опасность для пароходов, стоящих на рейде. Но всегдашняя волна на рейде приучила гениально работать арабов: на волне они работали лучше, чем турки у Золотого Рога. Ночью в тот день был шторм, теперь шла волна. Шаланда, ставшая у борта парохода, вставала на дыбы. Арабы -- красивейший, сильнейший народ--плясали на пляшущей шаланде и очень шумели. Цепь арабов стала на трапе и на борте. Они ссаживали на шаланду пассажиров. Араб на борте подхватывал пассажира или пассажирку, поднимал на воздух и бросал вниз на трап, там подхватывал второй араб и сбрасывал дальше; пассажир летел над водой,-- но внизу на кипящей, на встающей на дыбы шаланде подхватывали двое уже арабов, и обалдевший, перепуганный, орущий или визжащий пассажир летел на уготованное ему место на банке; в это время летел уже дальнейший пассажир, и первый не успевал опомниться и рассесться, как пустое около него место занимал следующий обалдевший. Когда шаланда была окончательно набита людьми, она уходила -- не на землю, которую так долго ждали, чтобы поцеловать,-- а в баню, где по команде мыли взрослых людей -- --   
      Путь было закончен. Или начат? -- --   
      ... Команду парохода англичане не выпустили на берег, сошли только капитан и Александр Александрович Александров. Отвал был назначен на полночь. Но капитан распорядился, чтоб, если будут сильнеть волна и ветер, или раньше срока восстанут арабы,-- давать гудки и разводить пары.   
      Александров на каике приплыл в гавань, прошел каменными лабазами и закоулками, вышел на площадь во всекрасочную толпу арабов, евреев, ослов, верблюдов, мулов, автомобилей, пальм, хибарок, кофеен, лавочек с луком, финиками, апельсинами, кактусовыми шишками. Александров у стойки, выходящей на улицу, выпил мастики, раз, два и три. Шлем его сполз на затылок, сухие губы под английски подстриженными усами полуоткрылись, открыли золото зубов, лицо обливалось потом, было стремительно, чуть-чуть хищно. Он купил себе английских сигарет, сладко закурил,-- пошел по пальмовой аллее, где под   
      пальмами неподвижно сидели, поджав под себя ноги, арабки, в белых чадрах, карауля верблюдов и поджидая мужей, и где не так уж вопили торговцы. Там он кликнул себе автомобиль, скомандовал мчать в пустыню, в Тэл-Авив, в Иудейскую долину,-- машина пошла мимо кактусов, мимо бесконечных кладбищ, мимо пальм, мимо арабской деревни (Александров приказал остановить машину; хотел пройти по этой деревне,-- за кактусами тесно столпились белые мазанки, стали кружком ослы, головами вместе, сидели на порогах женщины; шофер, с которым Александров до этого говорил по-английски, непокойно сказал -- по-русски, с одесским акцентом: -- "Не стоит туда ходить, неприятность будет".-- "Почему?" -- спросил Александров.-- "Так, знаете ли, еще чего доброго убьют",-- ответил шофер). Мчали мимо огородов, возделанных лопатой,-- и пустыня оказалась рядом, в нескольких километрах: красновато-желтые пески, волна за волной, точно умершее море,-- и пески уходили за горизонт, даже пальмы не торчали в песках,-- и оттуда, с песков, веяло нестерпимым жаром, испекающим. Машина вернулась, чтобы мчать по Иерусалимскому шоссе, в Иудейскую долину,-- влево на песчаных и на каменистых холмах остался Тэл-Авив, "холм весны". Прошел навстречу зампыленный отряд, сдвоенными рядами,-- ашомер,-- еврейской вооруженной стражи,-- винтовки и покрой одежды были английские, лица были утомлены и пыльны -- --   
  
      В десять часов капитан и Александров встретились, как уславливались, в портовой таверне. На пороге кофейной стригли мальчику голову, голова была в струпьях, и из-под струпьев ползли вши. Трое играли на непонятных инструментах очень тоскливое, как пустыня, и сплошь дискантовое,-- четвертый бил в бубен. Сначала плясали два мужчины, араба, потом еще пара мужчин в женских платьях,-- потом плясала старуха, очень грязная, но продушенная амброй. Александров пришел пьяным: капитан, который выпил вдвое больше Александрова, был благодушно трезв. Александров махал палкой, говорил об ослином постоялом дворе, о красавице-сафарке, о тартуше, куда его завез выпить напитка из индийского дерева шофер и где он напился дузики,-- записывал   
      что-то поспешно в блокнот,-- смотрел с восхищением, как пляшут два плясуна в женских нарядах. Нарядный костюм Александрова был пылен и растерзан.   
      Капитан наклонился над Александровым, сделал серьезное лицо, расправил усы, помолчал и заговорил:   
      -- Александр Александрович, я хочу вас спросить, извините,--вы на самом деле еврей?   
      -- Да, еврей.   
      -- Извините, Александр Александрович,-- ну, вот, вы приехали на родину, ну, вы все видели, как мы везли их, как их приняли,-- ну, вообще...   
      И Александров заговорил поспешно, весело:   
      -- Я совсем обалдел от красоты. Я, ведь, во всех портах выходил, как только отдавали якоря, выходил на берег и ложился спать, только когда уходили в море. Я первый раз вижу это солнце, эти синь, тепло, море, горы, историю наяву, в руках. У меня море спуталось с греками и солнцем, с днем,-- а Мустафа Кемаль-паша и его революция непременно связаны с ночью Ирана, Азии, Ассирии, Сирии,-- и исторические века человеческой культуры непременно связаны одною силой с Сенторинским вулканом; силы, толкающие лаву из вулкана,-- это именно те силы, что толкают человеческие цивилизации, что толкнули нас, коммунистов, на мировую революцию. Мои предки жили и здесь, в Палестине, и в Риме, и в Испании, и в -- черт их знает, где они жили эти тысячи лет! Те, что приехали сюда, что-то сохранили за эти тысячи лет,-- у меня ничего не сохранено, ни один народ, ни одна страна мне не мать, я все могу только любить и видеть. Вы заметили, те, что ехали на судне, никуда не смотрели, ничего не видели. У меня нет родины, моя родина и мои родичи -- весь земной шар и все люди,-- я интернационален, потому что я две тысячи лет терял родину, и я коммунист, потому что я умею видеть, у меня есть ремень, приводной ремень, который, я знаю, перемашинит весь мир. Я хочу и умею видеть. Весь мир мне родина. Я смотрю на этих танцоров,-- из них прут века, так же, как из Стены Плача, так же, как из русского мужичишки, как из английского потомственно-почетного рабочего, как из Синторина, как из Акрополя. Это мой приводной ремень. У меня, быть может, есть холодок веков моих предков,-- я лучше вижу, чем люблю: но -- тем лучше я вижу! Вот этого танцора я люблю, потому что вижу, статистически вижу --   
      -- Вам все равно, что Россия, что Англия, что Япония, что Палестина? -- спросил капитан.   
      -- Все равно! -- мне --- ---   
      Капитан неодобрительно пожевал губами, посмотрел косо, и первый раз стало заметно, что капитан -- подвыпил. Капитан расправил усы и сказал таинственно:   
      -- Вы, стало быть, антисемит? -- Я в партии с 1917 г., всю гражданскую войну на плечах вынес,-- а вот тоже не люблю еще японцев. Придешь к ним в порт, положим, в Токио, а они -- черт знает что за народ!-- и капитан сделал до слез презрительную рожу.   
  
      ...У полночи капитан и Александров возвращались на борт. Шли они, дружно обнявшись, не спеша, покачиваясь. Пароход на рейде давно уже отгудел третьим гудком. В порту было темно, и мыльными пятнами ложились лунные блики на камень, по которому, быть может, хаживали и Иисус Христос и цезарь Тит. Луна огромными осколками ломалась в море. В каике спали арабы, поджидавшие капитана. Капитан разбудил ближайшего, тот улыбнулся, сказал дружелюбно-- "москоби, большевик!" -- и растолкал товарищей. Где-то совсем рядом провыл шакал. Проснувшиеся арабы заклекотали, как клекочут орлы, просыпаясь перед рассветом. Синяя волна обсыпала большими и малыми осколками луны, качнула, не пустила каик от берега. Арабы заклекотали, потащили лодку, пошли за ней в воду. Тогда волны приняли каик в свой ритм. И в ритм волнам и в ритм веслам, как птицы, опираясь одной ногой о банку и отталкиваясь другой от борта, повисая над водой, похожие на птиц, загребли арабы. И чтобы грести дружнее, они ободряли себя короткой, гортанной песней, значащей приблизительно то же, что российская дубинушка. Они всклекотывали:   
  
      Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!   
      Боже мой, путь еще не кончен!-- путь еще далек!   
  
      Вот арабская песня:   
  
      Мастер, осторожней касайся глины,   
      когда ты лепишь из нее сосуд,--   
      быть может, эта глина есть прах возлюбленной,   
      любимой когда-то:--   
      так осторожней касайся глины своими теперешними   
      руками.--   
  
      На Урале в России, где-нибудь у Полюдова камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонившись над ключом, чтобы испить,-- и не выпил ни капли: или солона вода, или горяча вода, а иной раз и не хочется пить, но наклонился и -- нет сил оторвать губ от воды,-- так хороша она. И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним -- сотни, тысячи -- гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая...   
  
      ...Судно шло обратной путиной. Было 3 ноября,-- через четыре дня наступала годовщина Русской революции. На судне были будни. На спардэке заседал судком -- судовой комитет. Годовщину революции приходилось праздновать в море. Общее собрание решало, как провести праздники. Александрову поручили проредактировать стенгазету. Затем все принялись за уборку судна. Подвахта кочегаров примостила к трубам доски на манер того, как примащивают их каменщики и маляры на постройке новых домов в России,--залезла на эти доски, повисла на них и размаляривала заново трубы, пела про камаринского мужика.   
      Капитан лежал в шезлонге, с блокнотом на коленях: писал воспоминания об Октябрьском перевороте в Одессе.